

ПРОЛОГ

Императору Францу-Иосифу было восемьдесят два года. Портрет ему льстил — старец глядел хмуро, но бодро, проницательно глядел, стройный стан выпрямлял на зависть молодым офицерам, и плешь с седыми усами была ему даже к лицу: истинный государственный деятель, мудрый правитель своей державы. Портрет был не торжественный, скорее уж деловитый портрет — в таком серо-голубом мундире не парады принимать, а вершить судьбы и негромко отдавать приказания подчиненным. Потому Максимилиан Ронге, когда полковник Редль взял его в Управление военной разведки, украсил свой небольшой кабинет именно этим портретом. И когда принимал в нем сотрудников, те оказывались под прицелом двух пар внимательных и строгих глаз. Это внушало особенную потребность в благоразумии и дисциплине.

— Итак?

— Докладываю, господин Ронге. Вот экстракт из донесений агентов Фиалки, Альбатроса, Марципана. Я объединил их в докладной записке. Изволите прочесть?

В этой краткой речи была должная смесь деловитости и почтительности. Ронге одобрил ее.

— Читайте сами, господин Зайдель, — велел он. — Глаза мои устали от множества бумаг... хоть немного отдохну от света... Да только читайте так, чтобы я не заснул в кресле.

Это было шуткой — знаком приязни начальника к подчиненному. Но Ронге не рассчитал дозы благоволения в го-
мосе — Зайдель почувствовал себя неловко.

— Как вам будет угодно, господин Ронге, — сдержанно ответил он.

— Когда читаешь по бумаге — это получается нудно и монотонно.

Ронге не обиделся на то, что подчиненный не захотел понимать шутку. Он просто объяснил ее — хотя объяснять шутки довольно странно.

— Я постараюсь, господин Ронге.

— Да, постарайтесь...

Ронге откинулся на спинку кресла. Он знал, что Зайдель его побаивается, и считал — секретарь правильно делает. Ронге нарочно приучил себя глядеть со строгим прищуром и сжимать губы в прямую линию. Подчиненные должны верить в строгость начальника более, чем в своего ангела-хранителя. К тому же и служба такая — без страха нельзя. Если подчиненный господина Ронге утратит страх — то слишком многое станет известно нынешнему противнику, завтрашнему врагу на поле боя.

В том, что война с Россией неизбежна, Ронге не сомневался. И в том, что эта война станет сильнейшим средством сделать карьеру, — также. Ему тридцать восемь — всего тридцать восемь! А сколько уже сделано! А сколько впереди?! Кого попало в Управление военной разведки не возьмут — ему же было тридцать три, когда взяли. И теперь он — главная надежда не только австро-венгерской разведки, но и группы контрразведки «Эвиденцбюро»...

— О положении дел в проектировании российских аэропланов-разведчиков, — прочитал Зайдель крупными буквами выписанное название докладной записки. В кабинете горели только свечи на столе у Ронге, и он поднес папку с бумагами чуть ли не к самому носу.

— Первые три абзаца пропускайте. Наша преданность императору и без них вне сомнений. Сразу приступайте к делу.

Зайдель перевернул первый лист с традиционными словесными реверансами и кратким описанием политической обстановки.

— О положении дел в российском авиационном...



— Не надо. Дайте сведения о конкретных персонах, которых вы предлагаете разрабатывать.

— Извольте. Теодор-Фердинанд Калеп, сорок шесть лет, женат, проживает в Риге, — прочитал Зайдель. — Одаренный и деловитый инженер. Совладелец завода «Мотор» в Засенхофе, на окраине Риги. Первый, кто стал изготавливать поршни моторов из алюминия. Насколько можно судить по донесениям, Калеп является конструктором первого в Российской империи авиационного мотора и авиационного ангара. Два года назад построил свой аэроплан, который успешно прошел испытания, причем полеты состоялись зимой, в январе. Надо полагать, это первые в мире зимние полеты. И, по мнению агента Альбатроса, суший безумец.

— То есть как? — спросил Ронге.

— Чтобы построить свой аэроплан, истратил все сбережения и продал драгоценности жены. Придуманый им мотор заводится без труда, работает без перебоев.

— Лет ему сколько?

— Сорок шесть, а здоровья, по донесениям, слабого. Сейчас господин Калеп занят усовершенствованием своего мотора, что вызывает интерес у российского военного ведомства. При заводе собираются открыть летную школу.

— Ясно. Этот нам нужен. Дальше.

— Госпожа Зверева — дочь генерала Виссариона Лебедева, известного со времени военных действий на Балканах, — прочитал Зайдель. — Двадцать два года, вдова. Дама избалованная и отважная, не знавшая ни в чем отказа. Вот фотокарточки.

Ронге открыл глаза и увидел на столе перед собой два портрета.

— Глаза и волосы прелестны, но красавицей эту даму я бы не назвал, — брюзгливо сказал Ронге. — Продолжайте.

— Училась в гимназии и в Институте благородных девиц. Очевидно, в годы учебы впервые поднялась в небо на воздушном шаре, что известно с ее слов. Предположительно

это могло быть в крепости Осовец, где тогда служил генерал Зверев. Там располагался воздухоплавательный отряд...

— Ближе к делу, Зайдель.

— Как вам угодно, господин Ронге. В семнадцать лет девица была отдана замуж, сделала приличную партию — ее покойный супруг господин Зверев был инженер-железнодорожник, конструктор, весьма образованный человек. Есть основания полагать, что он сумел развить природные технические способности супруги. Брак длился два года. В тысяча девятьсот девятом году Зверев умер, его супруга осталась в девятнадцать лет вдовой. Это немаловажно — она приобрела юридическую свободу и самостоятельность, могла сама распоряжаться своими средствами.

— Средства, значит, были?

— Насколько понял агент Марципан, небольшие, и те она тратила, не слишком задумываясь о будущем. Агент Марципан рекомендовал обратить внимание на эту особенность.

— Хорошо, продолжайте.

— Осенью тысяча девятьсот десятого года, точная дата неизвестна, в городке Гатчине под Санкт-Петербургом была открыта частная авиационная школа «Гамаюн». Госпожа Зверева была в числе первых записавшихся учеников и внесла четыреста рублей за обучение и шестьсот рублей — на случай поломок аэроплана. Она выполняла учебные полеты на аэроплане «фарман-4»...

— Технические данные аэроплана.

Они сейчас роли не играли — но нужно было показать подчиненному, что начальство следит за выполнением своих указаний и помнит разговор недельной давности.

— Они в приложении, господин Ронге, — Зайдель нашел нужную страницу. — Тут восемь страниц приложений. Вес — пятьсот восемьдесят килограммов, предельная скорость — шестьдесят пять километров в час, неустойчив, от порывов ветра переворачивается... так... Учебные полеты выполнялись на высоте двадцать-тридцать метров, зачетные, с ис-

полнением фигур, — на высоте пятьдесят метров. Прикажете продолжать?

— Да.

— В июле тысяча девятьсот одиннадцатого года была попытка совершить первый в России групповой перелет из Санкт-Петербурга в Москву.

— Да, это я помню. Оставьте подробности.

— Госпожа Зверева также полетела — пассажиркой на «фармане» господина Слюсаренко. Владимир Слюсаренко... читать?.. Владимир Слюсаренко, двадцать четыре года, предположительно холост. Учился в Петербургском технологическом институте, но, по мнению агента Марципана, не окончил курса, поскольку увлекся авиацией. Окончил высшеупомянутую школу в Гатчине, сдал экзамен на пилота и стал работать в той же школе пилотом-инструктором. Там же познакомился с госпожой Зверевой и стал за ней ухаживать...

— Это какой-то новый, неизвестный науке способ ухаживать — взять даму в опасный перелет, где она рискует сломать себе шею. Ведь аэроплан Слюсаренко врезался в землю, не так ли? — Ронге едва усмехнулся.

Зайдель усмехаться побоялся — счел это неприличным.

— Именно так, господин Ронге, и пилот повредил обе ноги. Но ранения были незначительны. Госпожа Зверева уцелела. И через полтора месяца после того, как получил диплом пилота господин Слюсаренко, такой же диплом получила госпожа Зверева, став первой российской авиатриссой. Она летела на «фармане-4». На высоте пятьдесят метров сделала в воздухе пять восьмерок и совершила весьма точный спуск.

— Мне уже нравится эта дама. Продолжайте.

— В начале сего года авиаторы Слюсаренко, Евсюков, Агафонов и авиатрисса Зверева отправились на показательные выступления в Баку и иные города Кавказа. Они рассчитывали на финансовый успех, но в Тифлисе им не повезло — случился ураган, и аэроплан был разрушен. По донесению

агента Фиалки, чтобы оплатить издержки, пришлось отдать строителям полетов единственную ценность авиаторов — уцелевший мотор аэроплана. Затем было решено отправиться в Ригу.

— Так...

— В Риге было показательное выступление на ипподроме, во время которого Зверева чуть не погибла. Сильный ветер начал сносить аэроплан к трибунам. Чтобы не погубить зрителей, Зверева сделала резкий маневр, и машина опрокинулась. При ударе о землю ее придавило обломками. Ушибы до сих пор дают себя знать, но от полетов Зверева не отказалась. Более того — она, уехав ненадолго из Риги, опять туда возвращается вместе с господином Слюсаренко. Агент Марципан полагает, что в этой паре главная — госпожа Зверева.

— Похоже на то.

— По донесению агента Альбатроса, именно теперь господином Слюсаренко и госпожой Зверевой заинтересовалось российское военное ведомство. В Ригу они отправляются не по своей воле, а выполняя условие договора, подробности которого нам пока неизвестны. Ставка сделана на их конструкторские таланты. В Риге уже строят свои аэропланы на заводе «Руссо-Балт», предполагается размещать заказы на заводе «Мотор» — как вытекает из названия, на авиационные моторы. Задача Зверевой и Слюсаренко — проектировать, строить и испытывать аэропланы. Более конкретно — им поручено разработать модель аэроплана-разведчика и поставить армии пробные образцы. Речь идет о совершенствовании французского разведывательного аэроплана братьев Фарманов. Извольте знать технические данные?

— Имеется в виду новое произведение Анри Фармана? Этот двухместный аэроплан с воздушным винтом? Он разве уже построен?

— Да, господин Ронге, но, как вы понимаете, Фарманы не спешат знакомить госпожу Звереву и господина Слюсаренко с чертежами. Им предстоит самим разгадать все конструкторские ухищрения. Затем...

— Хватит. Подробности не важны. Дама-конструктор — это любопытно. Такое только в России возможно. Слю-сарен-ко... Портрет есть?

— Извольте.

Зайдель достал из папки еще две фотографии.

— Тут он в летном шлеме, но черты лица разобрать можно...

— Ясно. Хм... простое лицо, очень простое... с таким лицом трудиться уличным торговцем или сапожником...

Ронге замолчал.

У него было достаточно сведений, чтобы принять решение. Аэроплан-разведчик — что это? Игрушка, баловство, во время военных действий не имеющее смысла? Или опасность? На что способна такая машина? Не будут ли напрасно потрачены деньги — когда окажется, что затеи госпожи Зверевой и ее любовника лишены практического значения? Не лучше ли взять в разработку самих братьев Фарманов? Вон, о них уже набрано несколько папок, и с чертежами, и с описаниями.

Чем занимаются и что собираются совершить Фарманы — в общем-то известно... А эта парочка что может натворить? Если они взлетают, падают, врезаются в землю, ломают кости, а потом снова садятся на руль, или штурвал, или как там оно называется?..

А по лицам и не скажешь, что они таковы.

Когда мужчина и женщина беседуют в постели об аэропланах, они могут договориться до очень любопытных вещей...

Ронге вздохнул. Решение в его голове уже обрастало всякими подробностями.

Зайдель ждал, стараясь соблюдать каменное выражение лица. Он потратил время на докладную записку, дело уже заинтересовало его — и ему не хотелось, чтобы труды пропали безо всякой пользы для империи, Франца-Иосифа, будущего Австро-Венгрии, ну и для себя лично.

Ронге выждал еще немного — пусть решение будет для подчиненного выстраданным праздником.

— Ну что же, будем действовать, друг мой Зайдель, — сказал он почти весело, во всяком случае — доброжелательно. — Будем добывать чертежи этих ужасных летающих этажерок и этих гениальных рижских моторов. Французские у нас почти в кармане, а что касается русских... Попробуем привлечь на нашу сторону этих молодых безумцев. Будем внедрять наших людей на «Мотор» и «Руссо-Балт». Кого вы бы рекомендовали для выполнения задания?

— У нас есть свои люди и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Риге. В приложении список агентов с краткими характеристиками, извольте...

Ронге открыл глаза и взял протянутые листы.

— Так, так... — сказал он. — Тюльпана я знаю, очень толковый агент... Производит отличное впечатление на молодых дам, о зрелых уж молчу. Женщина, женщина... Если эта госпожа Зверева сделала своим любовником господина Слюсаренко, то нам нужна красивая женщина... Предварительное мое решение — Тюльпан, Кентавр и... Альда? А, Зайдель?

— Весьма услужлива, господин Ронге.

— И это все, что можно о ней сказать? — Ронге усмехнулся; он знал, что Альда побывала в постели у Зайделя, но, с другой стороны, постная рожа подчиненного и его флегматический нрав могли сподвигнуть молодую красавицу разве что на услужливость. — Ладно, пусть будет Альда. Это для нее прекрасная возможность освежить гардероб. Девочек нужно баловать. Двое мужчин и женщина — хорошее сочетание, не так ли, Зайдель? Для начала хватит. Подготовьте для них точные инструкции и принесите мне на согласование.

— Будет сделано, господин Ронге.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Общий вердикт был таков: Самсон Стрельский — старый дурак. Мужчины сказали это прямо, в глаза, а дамы выражались экивоками: чего удумал, совсем веяний времени не понимает, двадцатый век же на дворе, и кем нужно быть, чтобы взрошить древнюю рухлядь? Но дамы именно это имели в виду: старый дурак Самсон Стрельский предлагает нелепую авантюру, которая кончится бездарной тратой денег и гибелью репутации.

Репутация у труппы Кокшарова была. Да, не бог весть какая, провинциальная репутация, не столичная, однако — была! Артистов он собрал голосистых и ловких, мог с ними поставить любой водевиль, любую модную пьеску с музыкой и танцами. И когда Кокшарову пришло письмо с коммерческим предложением от давнего приятеля-антрепренера Маркуса, ставшего владельцем летнего концертного зала в Бильдерингсхофе, что на берегу Рижского залива, это было заслуженное потом и кровью предложение.

Концертный сезон на Рижском взморье недолог, четыре месяца, это вам, господа, не Крым, но какая почтенная публика там собирается! И из Петербурга, и из Москвы едут отдохнуть, развеяться, подышать ароматами моря и соснового леса. Многие знатные особы имеют собственные дачи в двадцати верстах от Риги, на побережье в Эдинбурге, особы попроще — в Майоренхофе, а есть и такие, кто забирается подальше — в Дуббельн, в Ассерн и даже в Шлокен. Не всякая публика желает летом обременять себя громоздкими шедеврами возвышенного искусства, большинству подавай певичек, танцорок, отдельные номера из любимых опере-

ток. А у Кокшарова все дамы в труппе поют, да и прелестно поют.

Казалось бы, составь ты, Кокшаров, две или три концертные программочки, с романсами, со смешными сценками, выдай дамам аванс, чтобы освежили туалеты, прикупили чулочков и шляпок, да и вперед! С этой целью он и собрал труппу на совещание — записать разумные идеи и набросать эти самые программочки, чтобы достойно ответить господину Маркусу.

А старый дурак Самсон Стрельский тяжеломерно воздвигся, как злосчастный памятник государю Александру Третьему, о котором язвительные петербуржцы сложили эпиграмму:

Стоит на площади комод,
На комодe — бегемот,
На бегемоте — обормот...

Скульптор Паоло Трубецкой, как выяснилось, задался целью изобразить одно животное на другом и изваял огромного болвана с угрюмым взором из-под насупленных бровей. Некоторая логика в этом имелась — царь был ростом в сажень без пяти вершков, под старость растолстел и сделался огромен. Точно таков стал к шестидесяти годам и Самсон Стрельский. Но сам он считал это импозантностью и даже придавал себе объема свободными костюмами и пальто, особенно светлыми, летними.

Итак, он воздвигся и заявил, что дешевые дивертисманы и одноактные пьески хороши для города Урюпинска, а в Бильдерингсхофе следует показать целый спектакль в два или даже в три акта. Его ехидно спросили, угодно ли ему ставить «Гамлета» или балет «Спящая красавица». Он отвечал:

— Мы можем без труда поставить «Прекрасную Елену»!

— Что? — спросил потрясенный Кокшаров. — Какую еще Елену?



— Оффенбахову, Иван, какую ж еще. А я бы превосходно сыграл жреца Калхаса.

— Так... — Кокшаров забормотал, что-то вычисляя на пальцах. — В одна тысяча восемьсот восемьдесят первом году, поправьте меня, господа, коли ошибся... или даже в восьмидесятом! Примерно тогда ваша «Прекрасная Елена» с треском провалилась в Саратове! И с той поры канула в небытие! Позволь — ежели ты в семидесятом играл в Саратове Париса...

— Я был еще совсем дитя, — быстро сказал Стрельский. — Невинное дитя с пухлыми щечками!

— Ладно, я не стану копать в церковных книгах, добывая дату твоего крещения, Самсон. Мне о ней даже подумать страшно. «Елена» безнадежно вышла из моды, и мы не станем осуждать эту глупость. Дураком нужно быть, чтобы предлагать публике такое старье. Сударыни, продолжаем. Госпожа Селецкая? Вы, помнится, исполняли куплеты Коломбины?..

Но Стрельский, удостоившись дурацкого титула, не угомонился, а стал плести интриги.

Иван Данилович Кокшаров имел в труппе даму сердца — как же без этого? Когда их роман начался, Кокшарову было срок два, а Настеньке Терентьевой, она же — госпожа Зинаида Терская, двадцать восемь. Ныне, в двенадцатом году, Кокшарову исполнилось пятьдесят пять, Терской же... двадцать девять. Переступить тридцатилетний рубеж она решительно не желала.

Стрельский повел правильную осаду красавицы и объяснил ей, что спеть романс про цветочки запоздалые может в труппе любая актерка, а выйти на сцену в роскошных туниках и диадемах Елены Прекрасной — только одна, да еще так выйти, чтобы публика ахнула: да, да, это именно Елена Прекрасная, такой она является во сне гимназистам, вынужденным изучать Гомеру «Илиаду»!

Госпожа Терская была умна — понимала, что вокруг постаревшего Кокшарова вьются мечтающие о первых ролях театральные девы, которым пока еще не приходится скрывать возраст, и он может в какую-то отвратительную минуту

грехопасть — для того лишь, чтобы самому себе сказать: я еще мужчина о-го-го! То есть нужно поддерживать его страсть к себе, всячески показывая: я самая лучшая!

Как одевалась Елена Прекрасная, Терская представляла себе — но не потому, что изучала историю изящных искусств, а по театральным байкам. Она, конечно, не помнила, что пикантную оперетту Оффенбаха поставили в Александринке в 1868 году, актрисе цифры ни к чему, но вот про тунику госпожи Лядовой, игравшей Елену, про тунику с разрезом до самого бедра и про скандал, связанный с этим разрезом, Терская прекрасно знала. Идея показать ножку ей понравилась, а когда Стрельский напел выходную арию Елены про любовь-святыню, Терская уже стала ломать голову над прической и туфлями. Ибо хоть ты древняя гречанка, хоть царица вавилонская, хоть римская весталка, а прическа у тебя должна быть наимоднейшая, равным образом — и бриллианты на шее и в ушах, какая же заглавная роль без бриллиантов?

Вот и вышло, что в апреле 1912 года труппа Кокшарова, готовясь к выезду на Рижское взморье, вовсю репетировала «Прекрасную Елену».

Списались с Маркусом, он обещал добыть в Рижском втором городском театре или в обществе «Улей» декорации. Задник с древнегреческим пейзажем и мебель Маркус рассмотрел, сложности возникли с галерой, на которой приплывает царевич Парис, чтобы обманом увести Елену. Без галеры было никак — если без нее, то публика сильно изумилась бы глупости царя Менелая и его товарищей-царей, которые не связали пришедшего пешком нахала Париса, не сдали его в полицейский околоток, а Елену за косы не водворили в ее будуар. Несколько писем посвящены были именно этой конструкции на маленьких колесиках, с мачтой и парусом. То, что мачта была ростом с Париса, никого не смущало, театр все-таки, и даже сам господин Станиславский не стал бы восклицать «Не верю!», поскольку имел немалый опыт выступлений в опереттах и понимал их особенности.

Что касается текста пьесы, то Стрельский объяснил Кокшарову: именно его отсутствие пойдет на пользу делу. В горо-



де и окрестностях происходит немало всяких недоразумений, их-то и нужно втащить в спектакль, под завязку набив его веселыми или пикантными намеками. Это прием испытанный, и публика побежит на «Елену Прекрасную» не только ради стройных ножек Терской, но и ради лихой злободневности. А если еще древние греки начнут поминать рубли с копейками и железную дорогу, так вообще получится прелестно. Кокшаров подумал — и согласился.

Маркус прислал рижские русские газеты для поиска всяких смехотворностей, вся труппа сочинила себе забавные словесные перепалки, а Кокшаров, насмотревшись рекламных картинок, прославляющих рижское пиво, списался с пивным заводом Стрицкого, который предлагал и «Рижское баварское», и «Столовое», и «Монастырское», и много иных разновидностей пива. Поскольку древнегреческим царям все равно предстояло пировать и пьянствовать, то они могли бы размахивать пивными бутылками, от чего публике радость, а Кокшарову — доход. Сделка состоялась.

Труппа была невелика, и мужских ролей оказалось больше, чем мужчин-актеров. Тем более — требовались актеры поющие. Кокшаров решил сам играть поэта Гомера, покамест еще не слепого, а просто близорукого. Парисом он назначил первого героя-любownika Андриана Славского, хотя и без энтузиазма: Парису следовало являться на сцене без штанов, в коротком хитоне, или как там эта древнегреческая тряпичка называется, а герой-любownik, имея смазливое личико, был малость кривоног. Но возникло недоразумение с царями Аяксами.

Их по сюжету было два. И выпускать одного Кокшаров не хотел — публика бы его не поняла. Со времен премьеры «Прекрасной Елены» закрепилось в русской речи выражение «два Аякса», так называли парочку друзей-бонвиванов, которые, подвыпив, шастают в поисках приключений на деликатные части телес.

Поскольку «Елену» решили сделать развеселой, то следовало пустить в ход испытанную шутку: чтобы один из Аяк-

сов, царь Саламина, был длинный и тощий, другой же, царь Локриды, — маленький и пузатый. А в труппе, как на грех, актеры были в основном среднего роста. Самый высокий, Стрельский, мертвой хваткой вцепился в выигрышную роль жреца Калхаса. Авенир Лиодоров, малость его пониже, получил роль Ахилла — благодаря удивительно тощим ногам. В сцене выхода царей ему следовало петь: «Я царь Ахилл, бесподобен, хил, бесподобен, хил, бесподобен!» — и тут ноги были весьма кстати. А низкорослый Савелий Водолеев был выбран на роль царя Менелая, супруга Елены. Он как раз был ниже Терской, и возникал нужный комический эффект.

Кокшаров позвал Стрельского с Водолеевым, они устроили военный совет, а когда кое-как протрезвели, написали в Москву актеру Скорпионскому, позвав его в тощие Аяксы. Он был одного роста со Стрельским и имел неплохой тенор. А Аякса-пузатого Маркус обещал найти в Риге, чтобы ввести его в уже готовый спектакль с парочки репетиций. Был у него кто-то на примете, и за голос владелец зала ручался.

Кроме того, Кокшарову удалось быстро решить еще один вопрос. Актриса Глафира Ордынцева по секрету призналась ему, что беременна. Она даже довольно точно назвала срок будущих родов. Но хвататься за голову антрепренеру не пришлось — приятель, путейский инженер Кольцов, еще до того подсказал ему пригласить Генриэтту Полидору. Генриэтта жила с богатым купцом Севастьяновым, который забрал ее из театра и поселил в хорошей квартире, пока не явилась Глафира и не изгнала соперницу из купеческого сердца. Теперь же Глафире хотелось выпроводить Полидору в такие географические дебри, каких и на карте не сыскать, чтобы спокойно разбираться с Севастьяновым и со своей беременностью. А Генриэтте хотелось убраться подальше, причем Рига ее очень даже устраивала, и за большим жалованьем она не гналась. Кольцов привел артистку, Кокшаров послушал, как Полидору поет, и решил, что для второстепенной роли гетеры Леоны сойдет. Худоцава не в меру, и неудивительно, что купец предпочел грудастую Глафиру, однако бюстом в



«Елене» будет блистать Терская, и второй столь же роскошный пришелся бы некстати.

С женскими ролями все утряслось быстро. Терская была, понятно, Еленой, Валентине Селецкой досталась роль Ореста — традиционно дамская; опять же, древнегреческий наряд позволял блеснуть ножками. Двух гетер, Парфенис и Леону, играли Полидоро и Тамара Оленина, которая была вовсе не Тамарой, а Танюшей Ивановой.

Это юное создание Терская привела в труппу недавно и всем объявила, что-де племянница, дочь покойной сестрицы. А как было на самом деле — актрисы подозревали: не могла же Терская, отродясь замужем не бывавшая, открыто признаться, что имеет внебрачную дочь, да еще такую взрослую. Для двадцатидевятилетней мамыши иметь девятнадцатилетнюю дочку — по меньшей мере странно...

Имя Тамара Оленина девушке дивным образом шло — Танюша была невысокая брюнетка с выразительными черными глазами (Кокшаров, едва увидев ее, вспомнил слухи, ходившие о Терской и некоем грузинском князе), гибкая и изящная, но скорее спортсменка, а не актриса; она и в Ригу потащила с собой любимый велосипед. Кроме того, она со всем пылом юности обожала лиловый цвет, и внушать ей, что он больше подходит даме средних лет, желательнее уже овдовевшей, было бесполезно.

Последнюю женскую роль, Елениной рабыни Бахизы, поручили Ларисе Эстергази, ветеранше кокшаровской труппы.

Когда труппа прибыла в Москву, оказалось, что Скорпионский сломал ногу. Его навестили, он лежал в постели, показал ногу в лубках, но Кокшарова не подвел — нашел себе заместителя. Заместитель был, как и требовалось, высок, худощав, длинноног, с прекрасной выправкой и изумительно усат. Новенький имел опыт выступлений на домашнем театре, но мечтал о настоящей сцене. Кокшаров его проэкзаменовал и остался доволен голосом, манерами, артистическими способностями. Звали долговязого Егором Ковальчуком, но мудрый Кокшаров перекрестил его в Георгия Енисеева.

На Енисеева как на коренного москвича возложили задачу раздобыть у московских старожилов партитуру «Прекрасной Елены», и он очень быстро ее принес. Оказалось, память почти не подвела Стрельского — актеры очень правильно заучили с голоса и слова, и музыку.

В Ригу приехали в начале мая. Жить предстояло в Майоренхофе, тратить деньги на дорогие рижские гостиницы не стали, а Маркус снял на несколько дней комнаты, что выходило не в пример дешевле. Пока дамы бегали по рижским лавкам и знакомились с модистками, Кокшаров прослушал второго Аякса. Тот действительно был невысок, крепкого сложения, а изготовить себе брюхо брался из плотной подушки. Он отрекомендовался потомственным рижанином с немецкими корнями, что вытекало из фамилии — Гроссмайстер и из непривычного для русских провинциальных актеров местного акцента. Имя у него было хорошее — Александр, а сценический псевдоним придумали такой: Лабрюйер.

Откуда это звучное слово попало к нему в голову, Кокшаров не задумывался. Слово было французское, великосветское, аристократическое, значит — годилось.

Особых актерских талантов у новоявленного Лабрюйера-Аякса не было, более того — он ходил по цене, словно аршин проглотивши, и те слова, которые должен был говорить, не произносил, а выкрикивал. И вид имел хмурый, будто всю родню похоронил. Но и это шло на пользу делу, поскольку, помимо воли Лабрюйера, производило убийственный комический эффект.

Аяксов свели вместе, посмеялись, и Кокшаров вздохнул с облегчением: вроде бы все роли нашли достойных исполнителей, да и фигуранты, четверо рижских студентов, на лето устроившихся в Эдинбург репетиторами к богатым недорослям, двигались и разевали рты весьма прилично. По-репетиторов на сцене «Улья», устроили показ для Маркуса. Он хохотал, как дитя, и предрек «Елене» светлое финансовое будущее.

Потом к Кокшарову пришла дамская делегация — Терская и Селецкая. Они просили еще денег.

— Я же выдал вам аванс! — возмутился Кокшаров. И Терская рассказала, что в рижских закоулках найдена дивная модная лавка, где поразительный выбор шляпных булавок, и нужно набрать их впрок — это же прекрасный подарок, особенно в новом стиле — со зверюшками, змейками и бабочками.

— Разве не прелесть? — спросила Селецкая, осторожно вынимая из шляпы длинную булавку, головка которой была очень тонкой работы — золотая, изображавшая муху в ажурном овале, а крылышки мухи — два аметиста-кабошона. — Она одна такая была! Подумайте, Иван Данилыч, как мы с этими булавками будем блистать в столице!

— Тыфу, — сказал на муху Кокшаров. Одна ее неслыханная величина могла вызвать отвращение.

— И вовсе не тыфу, хозяин лавки отыскал дивного ювелира, который только на него работает. Теперь понимаешь, что это очень выгодные приобретения? — спросила Терская. — На нас все будут смотреть.

У нее самой шляпа крепилась к пышным русым волосам (волосяное бандо было искусственным, конечно, натуральных волос так много не бывает) тремя булавками, одна изображала египетского скарабея, другая — цветок с жемчужиной в сердцевине, а третья — ящерицу.

— Это, конечно, ужас и кошмар, но вы должны обращать на себя внимание, — ответил Кокшаров, доставая бумажник. — Воображаю, каких монстров наберет там госпожа Эстергази!

Труппа после маленькой войны (дамы хотели ехать морем и любоваться на пейзажи) погрузилась в вагон второго класса поезда, идущего в Шлокен, и через час уже была в Майоренхофе.

— А вот если соберетесь к нам на шtrand в будущем году, то и пересаживаться не придется, — сказал Маркус. — Обещают прямые поезда из Петербурга и Москвы до самого Шлокена. Доедете как короли. Сейчас-то мы удачно устроились, едем

сядя, потому что вторник. А в субботу днем и в воскресенье с утра десять тысяч человек на шtrand выезжают! Воображае-те, какая в вагонах давка?

Поезд остановился у длинного деревянного вокзала, выкрашенного зеленой краской. Со стороны железной дороги он представлял собой бесконечный навес, подпираемый тонкими колоннами. Под навесом прогуливались дамы, ожидавшие поезда, и там же процветала мелкая торговля — мороженым, имбирными пряниками, пивом и всякой дребеденью. В стороне стояла прислуга с местных дач, охраняя большие тюки с грязным бельем, — прислуга ждала поезда в Ригу, чтобы погрузить тюки в особый вещевого вагон, а там бы их встретили служители прачечных. Через два дня выстиранное белье тем же вагоном прибыло бы обратно.

От железнодорожного полотна перрон отделялся барьером с проходами, у которых контролеры проверяли билеты; если безбилетник и умудрялся в Риге проскочить в вагон, то на выходе бывал схвачен и привлечен к ответственности. Поэтому они обычно соскакивали на ходу между станциями, рискуя за какой-то полтинник сломить себе шею.

— Слава те, господи, — сказал Кокшаров, предъявив билет и выйдя на перрон. — Обошлось без драм. Теперь все пойдет как по маслу.

Ох, рано он это сказал...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Маркус имел о галерах темное понятие. Да и о флоте тоже, хотя жил в портовом городе. С другой стороны, современные пароходы вряд ли похожи на древнегреческую галеру, а копаться в увражах и изучать картинки со старинных ваз у него не было ни времени, ни желания. Маркус встретился с плотником Петером Клявой, потомственным жителем Майоренхофа, и дал задание: соорудить нечто на колесах, с мачтой, и чтобы там два человека помещалось. Клява, человек пожилой и честный, уточнил на плохом немецком, что перво-

степенно — вид или способность к передвижению. Маркус подумал — черта ли в том виде, можно украсить сооружение драпировками, древние греки придираться не станут. Клява взял задаток, а готовую галеру, имевшую вид знакомой ему рыбацкой лодки, привез на телеге к концертному залу в тот самый день, когда Кокшаров назначил первую репетицию.

— Боже мой! — воскликнула Терская. — Это же ванна на велосипедных колесах! Увольте, господа, я при всем честном народе в ванну не полезу!

— Зато как ездит?! Вы полюбуйтесь, как ездит! — Маркус толкнул галеру, и та очень резко покатила по улице, насилу догнали.

— Вот вы в этом кошмаре и катайтесь, герр Маркус! А я не стану! У меня туалет и без того пикантный — если я заде-ру подол, чтобы залезть в вашу галеру, публика увидит мои панталоны!

Маркус ахнул: следовало объяснить Кляве, что галера должна быть галерой только с одного бока, того, который видит публика, а с другого — иметь ступенечки для примадонны. Клява же сам до такой тонкости не додумался.

Началась перепалка, искали виноватого. Кокшаров должен был прислать точное описание и чертеж галеры, Маркус должен был пустить в дело мозги! Актрисы с наслаждением слушали, актеры отошли покурить.

— Вот уж влипли, — сказал Савелий Водолеев. — Хотя не впервой... Придется тому же плотнику, пока не сбежал, заказать лестницу.

— А мизансцену строить так, чтобы мы ее до поры собой прикрывали? — осведомился Лиодоров. — Ерунда получится. Мы стоим слева — то есть на суше. Галера прикатывает справа — то есть с моря...

— Может, кто-то под прикрытием галерного борта живенько вынесет проклятую лестницу? — предложил Стрельский. — Скорчась, чтобы башкой не торчать.

— Разве что сама госпожа Терская, под складками хитончика... — шепнул, чтобы дамы не услышали, Алеша Нико-

лев — исполнитель роли Агамемнона, недавний гимназист, сбежавший из дому ради высокого искусства и пленивший Кокшарова густым и совершенно не соответствующим возрасту и телосложению басом.

— И мне эта ванна не нравится, Терская права, — заметил Лабрюйер. — Она недостаточно серьезна, чтобы навести на древнегреческие мысли, и недостаточно смешна для балагана.

— Ну да, у настоящей галеры должны быть весла, и она сажен двадцати в длину, пожалуй. Это поболее всего зала господина Маркуса, — сказал Енисеев. — А вот что, господа — на кой нам вообще эта жуткая галера?

— Как же без нее? — возмутился герой-любовник Славский. Сцена увоза Елены на галере была его личным маленьким бенефисом.

— Подумайте, господа, раз уж мы надергали из рижских газет всяких местных словечек, то отчего так цепляемся за эту галеру? Пусть уж и финал новому стилю соответствует!

— Прикажете увозить Елену на рижском ормане? — ехидно полюбопытствовал Славский, уже щеголяя местным названием извозчика.

— Нст, Славский, я придумал кое-что получше — и весьма для вас выигрышное. Аплодисменты будут безумные, — пообещал Енисеев. — Вы прилетите за Еленой на аэроплане! Вот это будет настоящий финал — а не дурацкая ванна на колесах!

— А не вдарить ли по пивку, господа? — предложил Лабрюйер.

Его любовь к хмельным напиткам в группе уже отметили, особенно дамы. А триумфы Славского его мало волновали.

— Погодите, Лабрюйер... То есть как это — на аэроплане? — спросил потрясенный Славский.

— А что тут такого? Здесь в предместье, в Солитюде, на ипподроме постоянно полеты совершаются, и даже дамы летают. Модное увеселение, так сказать, — отвечал Енисеев. — Вы же сами в газетах читали — вся Рига туда ездит. Так от-



чего же не похитить Елену на аэроплане? Коли у нас царь Менелай выходит с сигарой, а две гетеры — с кружевными зонтиками? Вот это будет пуант!

— Но как же? Это же, выходит, аэроплан сверху спускать надо? Целое устройство мастерить? — актеры затеяли дискуссию, к которой пару минут спустя, привлеченные шумом, присоединились Маркус и Кокшаров. Подошли и актрисы.

— Но, когда я играла в Петербурге, это было обычное дело — воздушные полеты, — сказала Терская. — Всякого купидона спускали на веревках, и он болтался над сценой, и ни разу не было, чтобы сорвался. Да чего только в столице над сценой не подвешивают! В Мариинке, когда ставят балеты, чуть ли не целый храм могут из-под колосников опустить, вместе со жрецами и прочей прислугой!

— А что? — спросил Кокшаров. — Это и для афиши выгодно! Прекрасная Елена на аэроплане! Публика на это пойдет!

— И из Майоренхофа приедут, и из Шлокена, — согласился Маркус. — Только надо бы командировать плотника Кляву на ипподром, чтобы разглядел эти летательные устройства. Я полагаю, нашему аэроплану и летать-то не обязательно. Даже если его вытащат на веревках, как волжские бурлаки буржу. — тем забавнее получится...

И тут вмешались дамы. Их возмутило, что в модное увеселительное место, где собирается цвет рижского общества, командируют какого-то плотника, а им приходится тосковать за даче, утешаясь прогулками по пляжу — пусть даже очень хорошему пляжу с чистым, светлым и мелким песочком.

Лабрюйеру было неинтересно слушать весь дамский ансамбль, такое количество голосистых женщин действовало на него угнетающе, особенно раздражала Эстергази, ему хотелось пива. И тут Енисеев проявил отменную сообразительность.

— А что, не сходить ли нам развеяться? — вполголоса вложил он. — Все равно ведь сейчас уже ничего любопытного не произойдет. И полеты совершаются, сколько я знаю, во утрам — без нас в Солитюд дамы не поедут.

— А ежели и поедут — беда невелика, они не заблудятся. Ипподром на полпути к шtrandу, — используя рижское словечко, означающее «взморье», ответил Лабрюйер и покосился на дам; мощная Эстергази совершенно заслонила хрупкую Валентину Селецкую, и это его огорчило — Селецкая сразу произвела на него впечатление, видеть хотелось именно ее. — Или чуть ближе к Риге, я там версты не считал. Едучи на шtrand, его отлично видно слева в окно — он чуть ли не примыкает к железной дороге. С утра, если едешь, видишь летунов — они там в небе восьмерки пишат.

— А может ли быть так, что аэроплан, взлетев и потеряв управление, рухнет на рельсы? — спросил, заинтересовавшись, Енисеев.

— А что, и очень даже просто, — согласился Лабрюйер.

Пока Кокшаров с Маркусом обсуждал новую затею, они сбежали, взяли ормана и покатали в одно из эдинбургских пивных заведений.

— Откуда столь шотландское название? — спросил Енисеев.

— От низкопоклонства, — объяснил Лабрюйер. — Тут раньше были рыбацьи хутора. Полсотни лет тому назад местность вошла в моду — стали строить богатые дачи. Тут летом столичные господа отдыхают — графы и князья, это их удел, то бишь привилегия... Ну, вот они и додумались до Эдинбурга. Лет этак тридцать или даже тридцать пять назад... Это нужно у стариков спрашивать, хотя и они чисел не помнят... Так вот, тогдашний государь император отдал дочь за герцога Эдинбургского. И здешние жители таким макаром, то бишь манером, отметили браковенчание...

— Любопытно, — усмехнулся Енисеев. — Каких только фантазий не увидишь в провинции...

Три часа спустя, когда солнце уже погрузилось в спокойные воды залива, оставив лишь багровую дорожку чуть ли не до берега, оказалось, что провинциальной фантазии далеко до столичной. Набравшись пива, заполировав его сдуру здешним сладким ликерчиком кюммелем, поправив

дело черным бальзамом и чем-то еще, оба Аякса вздумали репетировать. Как-то так вышло, что к ним присоединились лихие девицы и веселые господа. Енисеев повел все общество на пляж и там учинил выходную сцену царей из «Прекрасной Елены». Возле мостков, ведущих к большой эдинбургской купальне, он выстроил публику полукругом, сам взбежал, таща за собой Лабрюйера, на мостки, и оттуда уже они в обнимку двинулись к берегу, приплясывая и распевая:

— Мы шествуем величаво,
 Ем величаво, ем величаво,
 Два Аякса два, ах, два Аякса два!
 О нас победная слава,
 Бедная слава, бедная слава,
 Лестная молва, да, лестная молва!

При словах «ем величаво» Аяксы гладили себя по животам, а про «бедную славу» пели скорбно, к большой радости публики. И дальше вся компания шла по берегу, голося:

— Готовы на бой кровавый
 За свои права!
 Мы шествуем величаво,
 Ем величаво, ем величаво,
 Два Аякса два, да два Аякса два!

Хор получился громкий, но нескладный, и кончилось музыкальное безобразие в полицейском участке, причем девицы заблаговременно пропали. Наутро Аяксов вызволяли из участка Маркус с Кокшаровым. Разговор был неприятный, но обошлось — полицейские тоже люди и кое-как понимают необычайные потребности творческих натур. К тому же Кокшаров щедрой рукой раздавал контрамарки и выхвалял своих красавиц-актрис. Енисеева с Лабрюйером ему, соблюдая все нужные формальности, отдали и попросили вперед

пить пиво не в аристократическом Эдинбурге, а где-нибудь в Туккуме или Шлокене.

— Ничего страшного, это реклама, — сказал Кокшаров. — Но штраф за нарушение спокойствия я вычту из вашего жалованья, господа Аяксы.

Лабрюйер попытался было объяснить, что в авантюру его втавил Енисеев, но Кокшаров с Маркусом не поверили.

Прелестная музыка Оффенбаха имела прилипчивое свойство — как-то так вышло, что все, слышавшие исполнение Аяксов, а пели Аяксы хорошо, запомнили мелодию и мурлыкали ее в лад ходьбе, а иные подбирали на фортепиано, гитарах и даже губных гармониках. Опять же, Маркус отыскал в Дуббельне приличный оркестр, и нужно было быстро разучить с ним всю музыку оперетты. Антрепренер, посмеиваясь, заметил, что во время репетиций меломаны будут висеть на заборе, и это хорошо — публика любит узнавать знакомые мелодии.

— Надо попросить господина Стрельского порепетировать с этими сапожниками, — сказал он Кокшарову, — раз уж Стрельский знает партитуру. А мы возьмем Кляву и с утра поедем на ипподром. Только с плотником придется говорить по-немецки — немецкий он знает прилично. По-русски же — только отдельные слова и употребляет их, к сожалению, даже при дамах.

Сам Маркус говорил по-русски очень бойко — выучился, прожив десять лет в Петербурге. Для остзейского немца-рижанина это был своеобразный подвиг — Рига с тех самых времен, когда ее стали строить немецкие крестоносцы, была исконным немецким городом, и даже вся государственная документация до последнего времени велась на немецком языке. Население штранда, обслуживавшее русских дачников, научилось языку поневоле: когда от этого твои доходы зависят, и по-китайски зачирикаешь. Немцам-лавочникам было легче — один дополнительный язык, в придачу к родному, еще как-то можно переварить. Латышской прислуге и рыбакам, жившим на побережье, было труднее — немецкий они



осваивали на ходу, самоучками, весь год, а русский — только в сезон, длившийся обыкновенно с 15 мая по 15 сентября, за зиму же слова из головы напрочь вылетали.

На следующее утро наметили посещение ипподрома.

Кокшаров запасся бумагой и карандашами, чтобы изображать аэропланы. Можно было, конечно, нанять одного из тех фотографов, что промышляли в Майоренхофе и Бильдерингсхофе, но делать снимок в ателье, полчаса перед тем выставляя свет и покрикивая на модель, чтобы не шевелилась, и на огромном ипподроме, где все в движении, а летательные аппараты далеко от публики, — две разные вещи. Результат известен — достаточно посмотреть в газетах: висит в небе нечто черное и страшное, а публика внизу неразборчиво копошится.

Он смирился с тем, что вся женская часть труппы будет его сопровождать, но в одиночку возглавлять войско амазонок не желал и просил кого-то из господ актеров составить компанию.

Первым вызвался Лабрюйер, заставив дам очень выразительно переглянуться. Они уже приметили его интерес к Валентине Селецкой. За Лабрюйером потянулся и Енисеев. Вчерашний гимназист Алешенька Николев тоже выказал любопытство; еще десять лет назад гимназисты бредили дикими индейцами, а теперь им авиаторов подавай.

Теперь главное было -- не опоздать на рижский поезд. Актрисы привыкли поздно ложиться — но и поздно вставать. Кокшаров с вечера предупредил, что сонных тетерь дожидаться не станет. Но дамы проявили удивительное мужество — и более всего его поразила госпожа Терская. Уж про нее-то он точно знал, что барыня любит просыпаться к обеду, а вишь ты — чуть ли не первой вышла в новеньком прогулочном костюме, изящно причесанная и с радостной улыбкой на устах. С ней была Танюша.

Терская нарядилась чуть более роскошно, чем полагается благвоспитанной даме с утра, и вдела в уши дорогие серьги — подарок поклонника, о котором Кокшаров предпочитал

не спрашивать — из боязни услышать правду. Танюша была в скромном костюме (бледно-лиловом, каком же еще?!) и строгой шляпке без украшений. Зато Лариса Эстергази, актриса на роли благородных мамаш и королев, двадцать лет назад снизошедшая до труппы Кокшарова, несла на своей шляпе целые джунгли с цветами, перьями и только что не обезьянами. Терская с Селецкой как-то даже подметили, что с каждым годом количество шляпных украшений у Эстергази возрастает, и потихоньку держали пари, каким именно художеством она отметит свое пятидесятилетие, чучелком ли павлина или опахалом из перьев, как в балетах из жизни турецких султанов. На самом деле даму звали Прасковьей Сопаткиной, а откуда ей перепала аристократическая венгерская фамилия, никто не знал. И возраст свой она успешно скрывала — от всех, кроме товарок, поскольку от актрис такое никогда не утаишь.

Лучше всех была одета Селецкая — в костюм серо-жемчужного цвета, с большими атласными лацканами, и шляпку с небольшим плюмажем, в полном соответствии с правилами хорошего тона — кто же утром расфуфыривается?

Пятая дама труппы, Генриэтта Полидоро, сказала, что нездоровой и смотреть аэропланы не поехала. По этому поводу Терская с Эстергази обменялись мнениями: может ли такая тощая особа быть здоровой и не означает ли ее естественная бледность чего-то опасного?

Сопровождать дам уговорились Кокшаров, Маркус, Енисеев, Лабрюйер и Славский.

Утро было отменное — ясное и солнечное. В такое утро и не захочешь, а поддашься соблазну ипустишь в душу мечту о полете. И как-то она, эта мечта, удивительно гармонирует с пышной, стремящейся к небу всеми своими ароматными гроздьями, сиренью... крылатой сиренью...

Дачная хозяйка, узнав, что комнаты сняли русские артисты на весь сезон, сделала царский жест — подписалась на русские газеты. Ожидая дам, Кокшаров и Славский читали новости. Вдруг Славский присвистнул.

ДАРЬЯ ПЛЕЩЕЕВА

— Ого! Шустро работают! — и он показал Кокшарову страницу «Рижского курорта».

— Вот, извольте радоваться! — сказал Аяksam Кокшаров. — Слава настигла вас, господа! Бедная слава и лестная молва!

Фотография в газете была жуткого качества — репортер подстерег Аясов, когда они выходили покурить на двор дачи, а снимал, очевидно, сидя верхом на заборе. Усы Енисеева еще можно было разобрать, а физиономия Лабрюйера оказалась серым невнятным пятном.

— Весьма и весьма, — сказал Енисеев. — Надо будет купить с десяток и отослать в Москву.

— Слава богу... — пробормотал Лабрюйер, имея в виду свою неузнаваемость.

Подошел Маркус с плотником Клявой и стал всех торопить. Плотник же молчал. У него за пазухой пиджака топорщился какой-то сверток. Спрашивать о свертке не стали — не отвечает пожилой плотник от всей компании, и на том спасибо.